ИЛЬИЧ

Лежал один. Никто к нему не ходил.

Как заболел, и не помнил. Помнил – когда.

Когда выключили отопление в начале мая и в квартире стало холодно, люто, он включал обогреватель, пытался нагнать тепло в нищую бетонную кубатуру, – а нагнал духоту и запах паленого: подожглись и затлели трусы, что на спинке стула висели.

Он тлеющие вонючие трусы схватил, в руках замял, ладони обжег. Сморщился и заплакал.

И сначала затрясло его, заколыхало, и забрался под одеяло; уговаривал себя: не нервничай! ну подумаешь, трусы сгорели! новые куплю! с пенсии! – а со стен смотрела старая живопись в покосившихся рамах. Плыли по стене, ползли цветные пятна: видел уже плохо. Правым глазом – совсем ничего.

А так хотелось поглядеть на картины.

У него жена покойная – художница была.

Да талантливая; из Питера.

Нашарил, не видя, градусник в хрустальной вазе на тумбочке. В вазе лежали еще две стреляные медные гильзы, обтрепанный король пик из потерянной во времени колоды, две шпильки мертвой жены и ее жемчужные клипсы. Он помнил, внутри себя все слышал, как жаловалась она, трогая клипсы: «Мочки болят».

Но уши не прокалывала, боялась.

Жена боялась боли и крови. Как все люди. Все мы.

Засунул градусник под мышку. Терпел, ждал. Потом с ним задремал, и он выскользнул из-под мышки и мирно спал с ним рядом толстым могильным червем. Илья Ильич проснулся и почувствовал под рукой твердое стекло. Цапнул градусник, поднес близко к глазам. Пытался рассмотреть. Серебряно переливалась, мерцала полоска ртути.

«Тридцать семь? Тридцать восемь... Господи, помоги, кажется, тридцать восемь и пять... и шесть... черт... у меня ж никогда такого жара   
не бывало...» – думал Илья Ильич, растерянно вертя в руках градусник. Щупал лоб, щеки. Потом нащупал в вазе футляр, ткнул градусник в футляр и тихо лежал, замер.

Замереть. Умереть. Как близко.

До холода в животе испугался таких мыслей. Отогнал их от себя. Наорал на них: «Вон! Гадкие!» Полегчало. И вроде согрелся. Знобить перестало. Встал, кряхтя, на ощупь прошел на кухню. Грязь потеками сползала со стен. Он не видел ее. Открыл холодильник, пальцы нашли пакет с творогом.

– Надо Людочке сказать, чтобы купила сегодня кефир. Обкрадываешь ты меня, Людочка!

Илья Ильич соседке Людочке не верил; она брала деньги у него из кошелька, а он беспомощно протягивал ей кошелек и жалко улыбался. Он уже не различал, где сто рублей, а где пятьсот. А где пятьдесят. А где тысяча.

Катаракта. Это зрела катаракта, на обоих глазах, и правый совсем ослеп, а левый еще видел, да, видел.

Не все; кое-что. Как в тумане.

Из тумана выплыла кастрюлька, в ней Илья Ильич кипятил воду. Набрал под краном воды, нашарил коробок спичек. Чиркал и бросал, чиркал и бросал. Запросто мог кухню подпалить. Горящие спички летели мимо литровой банки и гасли в полете. В банке лежали обгорелые, скрюченные. Наконец он вообразил, что спичку зажег. И правда зажег. Сунул к конфорке. Ручку повернул. Пламя взвилось сурово и светло. Илья Ильич еле успел отдернуть руку.

Тряс рукой, дул на нее. Кастрюлю с водой поставил и, склонив ухо, слушал, когда вода зашипит. Закипит.

Услышал. Забулькало. Спустил рукав ниже и рукавом, как тряпкой, ручку кастрюли обмотал и снял с огня.

– Огонь, вода. Солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья.

Вслепую наложил в тарелку творог; вслепую налил в чашку воды; слепо, робко положил в чашку ложку растворимого кофе – чайная ложка свечой торчала в открытой банке. Размешал. Шаркая ногами, понес в гостиную. Поставил на круглый старинный стол, укрытый старинной скатертью. На столе стояли фарфоровые фигурки Дулевского завода, немытые хрустальные конфетницы, грязные бокалы и рюмки, лежал в крохотной круглой баночке, источая пряный дух, вьетнамский бальзам «Золотая звезда», множество бумажек – рецепты, жировки, салфетки. Илья Ильич сел на стул, да чуть не мимо стула. Вовремя схватился за край стола. Скатерть поползла на него вместе со всеми хрусталями. Он остановил ее, вздохнул.

– Цыц, цыц, – уговаривал скатерть, – не шали.

Творог ел с кипятком, как с сахаром – вприкуску: брал творожные комки из тарелки пальцами. Пальцы сами находили рот.

Он еще ел и жил, слепой.

Не видеть, но жить. Все равно счастье.

Картины покойной жены мотались на стене, летели жаркими летними пятнами. Он не видел, как косил с холста живой горячий влажный глаз гнедого коня. Смирно, подобрав под грудку лапки, сидела, мрачно глядела трехцветная кошка. Городские этюды незримо мазали потный, гармошкой сморщенный лоб то синими сумерками, то туманным серым утром, и другой берег реки таял в нежном скорбном серебре, в безмолвии.

Живопись молчала. Она тихая была.

А Варя – громкая. Она кричала на него. Даже когда ему носки штопала, кричала: «Ильич! Ты дундук с отрубями! Ты зачем курткой на масло в трамвае сел! Никакая химчистка не отмоет!»

В праздники, стоя за столом со всклень налитой рюмкой водки, Варя поднимала глаза к люстре и во весь голос читала Есенина. Очень она Есенина любила.

– Не жалею, не зову, не плачу... Все пройдет, как с белых яблонь... пусть целует она другова... молодая красивая... дрянь... Дрянь?.. Ох, плохое слово какое...

Илья Ильич боялся Есенина. Он боялся всего, что резало и разрывало.

Помнил, начиналась катаракта эта, и стоял перед зеркалом, разглядывая свой тускнеющий зрачок: странным белым молоком зрачок отсвечивал, мерцал жемчужиной. А раньше пульсировал черный и злой, острый.

Глаз. Видеть. Зреть. Созреть.

Созреть – значит все-все увидеть.

И тогда уже...

– О-о-о-о-о, нет! Нет!

Больше всего на свете Илья Ильич боялся умереть.

Уйти насовсем.

Допил последний глоток воды. Пока пил, вода остыла, приятным комом тепла катилась в желудок. Разливалась по легким, как водка. Водка –   
тоже вода: только сгущенная. В ней человек сгустил боль и горечь. Чтобы их глотать и радоваться: а я – не боль и горечь, я еще радость, и я еще тебя, противная водка, пью и живу. Горе пью огромными глотками, и все нипочем.

Утер рот рукавом сорочки. От холода ходил дома в теплом старом китайском белье – в сорочке с начесом, в кальсонах. Кальсоны пузырились на коленях. Горячая вода водкой согрела потроха, сердце, даже кожу на руках. В пальцах, в ладонях кровь затанцевала. Нет, ничего такого плохого не будет со мной, подумал Илья Ильич, и стало весело совсем, целиком. Весело и тепло.

За окном северный мощный ветер оголтело гнал по небу узкие ножевые облака.

К вечеру Илья Ильич слег. Жар поднялся и ударил в голову. Голова раскололась от боли надвое. Он приставлял руками обе половинки друг к дружке, а они срастись все никак не могли.

Тогда он слабой потной рукой набрал номер телефона соседки: телефон стоял на стуле у изголовья, рядом с тумбочкой, все рядом, все удобно.

– Людочка, – прохрипел, – я погибаю!

Ключ через пять минут затрещал в замке. У Людочки был ключ. Он сам ей дал его. Чтобы, если он лежит, не вставать с постели, не трудиться открывать.

– Ну что, осел ты безмозглый, Илюшка, паникер. Залег. Вот он и залег. Что лежишь, зенки вылупил?! Ишь, боится он. Забоялся! А я не забоялась! Вон у меня какие печеночные приступы, на скорой увозят, под капельницами подыхаю! И ничего! Не подохла! А он забоялся. Да тебя гонять надо от стенки к стенке! Чтобы резвее скакал!

– Меня лучше сразу к стенке...

Шутка не вышла. Людочка своими грубыми криками напоминала ему жену Варю. Людочка была много моложе его, но строила из себя старую, насквозь больную бабу. А на лицо гладкая; и ноги стройные.

– У меня муж ругается, что, мол, я к чужому мужику хожу, ухаживаю за ним! Суп варю! Чайник кипячу! А муж-то мне муж, между прочим! Имеет право возмутиться!

– Людочка, – смиренно пробормотал Илья Ильич, и голова у него глубоко, как белье в прорубь, ушла в подушку, – ты мое спасение. Не покидай меня.

Людочка переступила стройными ногами. Синие джинсы с дырками на бедрах и махрами на гачах. На фигуру совсем девушка. А подбородок двойной. И усы, как у собаки.

Она потрогала ему лоб.

– Ексель-моксель. Жар-то какой! И лежит. Лежит он тут. Валяется. Трубка есть?! Номер скорой подсказать?! Я и скорую вызывай! Я и все! Ноль-три! Ноль-три, дурачила старый!

Уже набирала. Уже кто-то невидимый, строгий отвечал ей там, далеко.

Илья Ильич потянулся под одеялом, в колене что-то хрустнуло и дико, резко заболело. Он вынул руки из-под одеяла и пытался поймать руками Людочкину руку.

– Приедут? Приедут?

– Куда денутся! Лежи уж тихо! Горе мое!

Он тихо, беззвучно повторил: горе мое, – и еще раз: горе мое.

– Твое... твое...

Пока ждали скорую, Людочка успела сварить Илье Ильичу суп из старой застывшей куриной лапы и ссохшейся луковицы и сама поесть, украдкой похлебать, обильно посолив варево, из щербатой миски.

– Хочешь супа горячего? Вкусный.

– Нет. Нет.

Мотал головой, и голова кружилась.

Скорая прибыла через час.

Люди, их было немного, толпились вокруг кровати, и его голова отъезжала в сторону, а туловище разговаривало само, отчаянно рыдало, руки мотались, люди ловили их, как огромных белых рыб. Холодный кругляш елозил ему по голой груди. Голоса говорили меж собой, непонятно, отрывисто. Слова высыпались медными гильзами из старинной хрустальной вазы.

– Ну что, ребята, грузим на носилки и вперед. Вы жена?

Люди в синих халатах глядели на Людочку. Людочка помяла рваные на коленях джинсы.

– Нет.

– Понятно. Увозим его. Дверь вы закроете? У вас, у вас-то, – наклонились к Илье Ильичу, – ключ-то есть?

Илья Ильич махнул слабой рукой, и сильно, жутко заболело в локте.

– У нее... пусть все у нее...

Он ощущал – его берут цепкие равнодушные руки, поднимают, укладывают на гладкое, холодное и несут куда-то, тащат, будто он рояль или шкаф. Он внезапно и страшно пожалел, что не может идти в машину скорой своими ногами. «Вещь, шкаф, стол, кресло. Доска, бревно. Мясо. Труп». Мысли хлестали жесткие и ясные, били наотмашь. Он не сопротивлялся им: уже не мог.

Его на носилках втащили в салон раздолбанной «буханки» и уложили на каталку. Ехали, потом остановились, потом опять его взяли и понесли. Он лежал на носилках с закрытыми глазами и старался ни о чем не думать. Жар усиливался. Он видел свое лицо будто сверху и ужасался – вместо лица красная безглазая маска, будто красной тряпкой лицо накрыли.

Грубо свалили вниз, не уложили, а странно шлепнули, будто блин на сковороду. Постель. Чужая и холодная, под ним. Как холодная женщина. Давно это было, женщина. Он уж и забыл. Под одеяло бы заползти. Согреться.

Снова начал мерзнуть, и затрясло. Надо открыть глаза, надо, надо.

«Открой глаза, дурень! Открой, безмозглый скот!»

Ругал себя Людочкиными словами. А потом голос покойной жены ясно, внятно раздался надо лбом: «Дундук с отрубями! Скоро ко мне придешь! Молись!»

– Молись, Варя, ах... кому молиться? Одеяло... одеяло накиньте... холодно... холодно...

Никого не было там, куда его привезли.

И он поднатужился и смог открыть глаза.

Обвел глазами стены белого пустого куба. Он внутри смерти, разве это неясно.

Она квадратная, белая, безлюдная, беззвучная.

А разве в могиле думают? Разве мысли текут?

В смерти распахнулась стеклянная дверь, и беззвучно вошел человек. Женщина.

Это не Людочка была. И не покойная Варя.

Женщина в белом халате, а поверх халата, на плечах – вязаный черный ажурный платок, и запахивается в платок, ей тоже холодно. Всем тут холодно.

Ближе подошла. Он видел лицо: старое. Морщинами изрезанное щедро и подробно.

– Вам лучше? Вы открыли глазки.

«Как про птичку сказала, про попугая: глазки».

Илья Ильич попытался улыбнуться, не получилось.

– Мне очень холодно.

Старая женщина обмотала край ажурного платка вокруг шеи.

– Не тепло тут, да. Мы все просим, просим подтопить. Видимо, придется заводить свою котельную. Такая холодная весна, как зима.

Она, как и все они, опять щупала его лоб. Попросила показать язык. У Ильи Ильича зуб на зуб не попадал, и он язык прикусил. И глотал свою кровь.

«Будто зуб выбили, сколько кровищи».

Женщина отшагнула от него, отвернулась и спокойно пошла к двери.

И тогда Илья Ильич, ему показалось, крикнул, а на деле прошептал ей в уходящую спину:

– Я умираю?!

И она услышала, обернулась.

Опять подошла к нему.

Наклонилась над ним низко.

У нее из-за затылка выскользнули волосы, седые пряди, и упали Илье Ильичу на ужасающееся лицо. Она быстро, смущенно убрала их ловкими пальцами. Пальцы пахли хлоркой.

– Вы? Да. Умираете.

Потом выпрямилась, но не уходила от него.

И еще тише сказала:

– Уходите. Мы все уйдем.

Вздохнула и добавила, очень тихо:

– Я тоже.

Когда она уже дошла до двери, беззвучно и грациозно, а сама крупная, тяжелая, старая, – Илья Ильич весь потянулся с кровати вслед за ней, и ему казалось, над матрацем приподнялся, скрючил горячие бессильные пальцы, и губы лепили, выпускали вдогон женщине легко летящие, прозрачные слова:

– Спасибо, спасибо, что не обманули.

Он лежал в странной больнице. Он больницу рассматривал большими глазами, будто впервые в нее попал. Забыл, где лечился и когда. А эта, нынешняя, ни на что не была похожа. Новая, единственная. Врачи подходили к нему, щупали его там и сям; он отворачивал на подушке голову и делал вид, что спит – всхрапывал, вздрагивал. Сам не понимал, притворялся или тело все само делало за него: ноги сами дрожали, легкие сами свистели. Будто в грудь Илье Ильичу кто-то налил крепкой наливки или настойки: булькало и жгло.

«Так люди, когда тонут, вдыхают воду. Очень больно, когда вода втекает в легкие. Но я-то не под водой. Я не под водой!»

Он утешал себя как мог.

А странные стены косили страшным креном, сдвигались и раздвигались, и он таращил глаза, смутно понимая, что похож на рака. «Рак, рак, а вдруг у меня рак?» Вспомнил: одна знакомая дама, с крашеными кудрями и крашеными ногтями, знающе говорила ему: «Мы все умрем от рака, если до него доживем».

Лампа падала на него с потолка. Тускло, ущербной луной, мерцал казенный плафон. Иногда плафон казался ему лысой головой мертвого ребенка. Его жена делала аборты. Шесть абортов. Когда возвращалась домой из женской больницы, ему казалось: она несет перемазанного кровью убитого младенца в подоле.

– Не падай на меня, мой сын, – вылеплял он сухими губами.

Иногда рядом звучали четкие сухие, как выстрелы, шаги. Это по гладким плитам подходила к его койке медсестра. Протягивала руку и мазала ему губы ваткой, накрученной на корнцанг и намоченной в воде. Он слизывал воду с губ, а потом слепо шарахался на койке, вжимался в подушку с черным скорпионом инвентарной печати, – боялся. «Это гибель, гибель. Надо спрятаться. Надо спастись».

А спасения не было. Он оглядывался, жмурился, искал зрачками, искал мыслью – не было спасения нигде.

Под кожу входили стерильные иглы, шприцы мерцали и опорожнялись, и Илья Ильич уставал думать и засыпал. Заслонившись рукой от скошенного, движущегося потолка, от наползающих на него кривых стен, выставив вверх кочергу локтя, он спал, и сон оказывался сильнее страха. Во сне он не терял способность слышать. А иной раз и видеть. Сон перестал быть плотной пеленой, надолго закрывающей мир. Сон стал толстой прозрачной линзой, и сквозь ее чудовищное увеличение все было видно – и то, как он однажды пытался изнасиловать наивную девочку в чужом подъезде, а у него не получилось; и как на южном пляже на него навалились трое грузин, держали, а четвертый обчистил его спортивную сумку, и, уходя, они ухмылялись и лопотали по-грузински гортанно и грубо, и один сделал ему нос и густо плюнул в его сторону. И то, как они с женой, тогда еще не женой, поссорились в ее нищей питерской мастерской, на чердаке на Шпалерной, и она перебила всю посуду – рюмки, чашки, плошки, китайскую антикварную вазу. Потом они подметали осколки в дырявый совок, и он так четко, ясно видел эту фарфоровую пыль и глиняное крошево. Видел женские руки. Женщина порезала ладонь об осколок и заплакала. А он засмеялся. И тогда она тоже засмеялась.

Все это он видел сквозь толстую, колыхающуюся воду тоскливого сна.

Сон кончался, и явь наплывала на него иным сном. Человек в белом халате садился на его койку, мял ему руки, оттягивал веки, стучал по груди, махал рукой, и по его знаку тащили к утлой койке нелепое сооружение с рогами вверху, с прозрачными трубками и полными крепкой пьяной водки пузырями. Пузыри крепились на самый верх железной палки. Илья Ильич бормотал:

– Дайте мне выпить, дайте, дайте. Водки стаканчик, полстаканчика. Чистая как слеза.

Его глаза превращались в мелких рыб, в уклеек или плотву, и плыли подо лбом в разные стороны. Зрачками он пытался указать на верхнюю недосягаемую водку. Ему больно, остро хотелось выпить, как встарь, и тепло, горячо забыться.

«Каково это – быть пьяным? Это чудесно, превосходно. Жар и радость».

Мычал и силился приподняться. Человек в снежном холодном халате останавливал его. Клал руки ему на плечи и мягко укладывал обратно. Слова над головой Ильи Ильича текли размеренно, плавно. Слова были тоже рыбы, и они медленно шли под водой, в прозрачной гиблой толще. Огибали голову Ильи Ильича и уплывали ему за затылок.

Что-то было такое в звучании чужих мерных слов, он и вспомнить не мог.

Слушал свое дыхание. Оно становилось все влажнее и чаще. Он тоже плыл, вместе с рыбами; плыл рядом с собой, неподвижно лежащим. Иногда близко пахло съестным: кашей, супом. Илья Ильич поворачивал голову и носом указывал на тарелку. А сказать ничего не мог.

– М-м-м... м-м...

Тарелку брал круглый как шар, небритый мужик в старомодной полосатой пижаме. Подсаживался к Илье Ильичу, подносил ложку с супом ему ко рту. Илья Ильич не мог проглотить суп, бодал ложку, суп выливался на одеяло. Толстый мужик матерился, вошедшая в палату нянечка ругалась нежным голосом крепкими словами.

– Язви его! Опять все одеяло залил! И на полу суп! В бога-душу...

Толстый мужик сам доедал суп Ильи Ильича. Не брезговал.

В палату втекала ночь, и Илья Ильич видел ночь насквозь, как черный аквариум. Внутри ночи все светилось и шевелилось. Ночь была живая, а он умирал.

«Несправедливо... нельзя так...»

Что нельзя, он и сам не знал. Но понимал: нельзя, невозможно.

«Возможно, именно это одно и возможно», – говорил густой плотный голос внутри него.

Потом голос перемещался и доносился сверху, но слов было не разобрать.

Утром опять приходил доктор. Илья Ильич не знал, что это доктор. Он чувствовал: живое тепло рядом, настоящее тепло, живое существо, от ноги идет жар, чье-то тело поджаривают на костре. Огонь горит, кровь течет по жилам, голоса перебрасываются непонятными веселыми словами. Язык! Он забывал язык, но он видел, как горят и тлеют слова, складываясь в живые руки, ноги, плечи, щеки. Его руки? Его слезы?

Он пытался плакать, но это было все бесполезно. Ненужно.

Врач медленно, будто нехотя, вставал с его койки. Пружины лязгали.

Больные в палате внимательно, мрачно глядели на врача.

– Что, доктор? Как оно? Все, кранты?

– Жить-то Ильич будет?

– Молчите. Ясен перец.

Врач поднимал плечи, как ворон – крылья. Тер ладонью ухо, будто отморозил.

Молча выходил в дверь. Больные провожали его глазами. Тоже молчали.

Потом один из больных говорил:

– А что говорить.

Илья Ильич видел много чего и уже не удивлялся. Глаза находились у него под черепом, и зрение теперь пребывало там же. Глаза смотрели не наружу, а внутрь, и он уже привык к этому: глаза шарили по временам, выуживали забытое, окунались в будущее, и там было всего интересней. Он смотрел жадно, понимая, что однажды наступит слепота. И все кончится.

«Все? Что – все? Весь мир? Или мир будет, а кончусь – я?»

Видел выгиб огромного шара. Выжженные камни, серый и красный песок. Видел странных зверей – с виду чудовища, а глаза человеческие. «Это люди, такие люди стали. Ужас. Как жаль». Видел странные гигантские машины – они громко тарахтели, над ними поднимались крышки огромных люков, из дыр высовывалось множество голов – людских или звериных, он уже не разбирал. Машины грохотали по грязи, по бездорожью, после них на теле земли оставались красные раны, рубцы. У будущих машин, как у нынешних танков, были пушки, только очень много, и пушки топырились в разные стороны. Он глядел на железных пауков сверху. «Новые машины для смерти. Чем стреляют? Каким огнем? Огонь все тот же. Он не изменился».

Он еще слышал. Слух причинял больше мучений, чем тайнозрение. Он хотел избавиться от ушей, хотел навек зажать их ладонями, и не мог поднять к голове руки. Беспомощно прижимал к подушке то одно ухо, то другое. Становилось немного легче. Голоса вспыхивали, жгли и давили. Взрывали череп изнутри. Когда становилось невыносимо, он орал.

Так ему казалось. На самом деле он немо разевал рот.

Звук входил в ухо и выходил из другого. Протягивался нитью. Шар головы висел на тонкой металлической нити, и она разрезала надвое мозг. Одна половина думала, другая – плакала.

«Хочу ли я есть? Смогу ли глотать?»

Глотка сначала ссохлась, потом стала смерзаться. Медсестра пыталась напоить Илью Ильича водой из стакана. Илья Ильич откусил от стакана кусок стекла. Выплюнуть не смог. Сестра осторожно вытаскивала осколок изо рта Ильи Ильича и содрогалась от отвращения.

– Фу, какой беззубый, – громко сказала, не щадя других больных.

Бросила осколок на пол. Пнула, он откатился под батарею.

– Что это вы так зло, – подал голос шаровидный мужик в полосатой пижаме, – что он вам сделал? Ничего не сделал.

Медсестра поставила надкушенный стакан на тумбочку, встала, выпрямилась, как доска, и попыталась обратить все в шутку.

– Вы мне все тут каждый день делаете!

Вместо шутки вышла злая жалоба.

Илья Ильич слабо дернулся на койке.

Дернулся и затих.

Под Илью Ильича подталкивали время от времени холодное, жесткое. Это было судно; его упорно, нудно подталкивали под его голый тощий зад. Иногда откидывали простыню и обжигали льдом спереди. Это была утка.

– Перестал мочиться, Господи, отпусти Ты душу грешную.

Санитарка ставила утку на пол и засучивала рукава халата, будто они ей мешали сделать дело.

Снова приставляла утку к телу Ильи Ильича.

– Ну давай же, миленький, ну же...

Он ничего не понимал, только ощущал – холод внизу и спереди.

Вдруг вспомнил веселую шутку жены Вари. Когда он говорил бодряцкую расхожую фразу: «У нас все впереди!» – Варя дергала плечиками и хохотала: «У нас все спереди!»

Спереди, спереди... Бесконечно повторял слово, стал его слышать обостренным, оголенным слухом, и слово сначала превратилось в перец, потом в стручок, потом в лоскут, потом в огрызок, потом в сломанную расческу, и зубья расчески осыпались и превращались в мошек. Мошки разлетались, толклись в ярком солнечном луче.

Это тучи разошлись, и свет мощно, напористо бил из окна в палату.

В круге света на панцирной койке лежал беспомощный человек; он уже ничего не мог живого, ни стыдного, ни благородного, все тайное сгорело, все позорное растаяло; остался только высохший полый стебель, он мотался на ветру.

Это санитарка распахнула форточку, проветрить палату.

И крикнула:

– Сейчас кварцевать будем! Все ну-ка быстро закрыли глазки!

Врач нежно гладил Илью Ильича по плечу – он не чувствовал. Врач спрашивал его и говорил с ним. Он не слышал, но ощущал тепло дыхания и вибрацию далекого голоса, и надо было притвориться – слышу, мол. Он изо всех сил старался улыбнуться, что да, да, слышу! – и ему чудилась его собственная улыбка, обвивающая гнилой веревкой высохшие щеки.

Врач ничего этого не видел; он видел – умирающий больной тяжело дышит, и надо написать в истории болезни, чтобы делали такие-то и такие-то вливания. Для облегчения дыхания. Для снятия отеков. «Отек легких, – думал врач, – да, близко уже, а может, и не отек, а инсульт. Все предвестники инсульта. Скоро. Сосуды у него никуда. Износились капитально».

– Сосуды никуда, – тихо сказал врач, а Илья Ильич вдруг услышал.

Подо лбом взлетела туча надоедливых золотых мошек, блеснула и исчезла; а в ушах сначала восстал до потолка, поднялся мелкий рассыпчатый звон, перешел в гул, гул – в вой. Он захотел спрятать, укрыть бедную голову от вездесущего воя. Вой пожирал его, хрустел его костями. Он выламывался на койке, колени трещали, локти выворачивались. Он сам превращался в вой, взвивался, закручивался змеиной спиралью, взлетал и рушился. Вой полз по больничному полу черной поземкой. Илье Ильичу удалось выпростать руки из-под одеяла и прижать их   
к ушам. Лицо его покривилось. Руки упали на подушку, ладонями вверх, и он напомнил врачу спящего ребенка.

Врач видел уже много смертей, и эта была не последняя. Сначала, после мединститута, врачу было любопытно и страшно. После привык. Так привыкают к горечи полыни, когда пьют абсент.

– Дохтур, он тут у нас ведь водки просил. Прямо умолял.

– Что ж не дали?

Врач взял обе руки Ильи Ильича и положил поверх одеяла.

– Так то ж давно уже было.

– А вы все вспоминаете.

– А мы все вспоминаем!

Больной в очках, с торчащими белой паклей волосами, показывал на Илью Ильича пальцем.

– Придется сбегать в магазин.

– Да к лешему, ну его! – Седая пакля затряслась от мелкого смеха. – Скоро тут и вспоминать-то будет нечего!

Илья Ильич все это слышал. Руки послушно, два кролика, лежали на одеяле.

Два костлявых, голодных, смирных кролика.

Их давно не кормили, и они уже не могли прыгать и ласкаться.

Желудок Ильи Ильича висел в животе на тонкой ножке. Ножка то и дело перекручивалась. Он изнутри видел свой желудок, бледную поганку. Голодно и пусто, и ядовито, и темно. Боль появлялась все реже. Но зато, когда приходила, была все сильнее.

Санитарка тщательно мыла у него под койкой. Возила шваброй, тыкала ею в дальние, пыльные углы. Уже и пыли не было, и пол блестел зеркально, а она все мыла и мыла. Будто хотела все отмыть вокруг него, чтобы в сиянии, в свежести и чистоте, хоть немного утишилась боль.

– Кряхтит... Мучается. Всем нам мучиться! Кто как перенесет.

Вынесла ведро и швабру в коридор. Подошла к умывальнику и вымыла с мылом руки.

Подоткнула одеяло под матрац Ильи Ильича. Пристально всмотрелась в него.

– Храпит. Недолго уже. Эй! Мужики! Если ночью вдруг что – вы покойников не боитесь?

Молчание облапило санитарку. Она потерла себе локти. Стояла и чего-то ждала.

– А что бояться. Мы видали виды.

Лицо Ильи Ильича на подушке растекалось, медленно синело. В груди клокотала дикая музыка.

Из музыки выросла война.

Она выросла так широко, внезапно и необоримо, что Илья Ильич хотел закусить губу, а беззубые десны, как он ни старался, не смыкались.

Он жевал деснами черный вязкий, как сырой ржаной мякиш, гарью пахнущий воздух. Воздух наплыл, навалился из времени, что он бесполезно пытался забыть.

Он всегда хотел забыть войну, но у него это получалось плохо.

Дымы и земляные черные веера. Грохот, превращавшийся в немую тишину. Контуженный, он не слышал, а потом и не видел. Видели ноздри. Они видели дым, и огонь, и искривленные лютым ужасом лица людей. Уже не лица: разбитые кувшины, рассыпанные осколки оконных стекол. Люди слишком быстро превращались в камни, стекла и железо. В неживое.

Живому на войне оставалось очень мало места.

Живое ютилось на пятачке, на маленьком круге земли. Круг уходил из-под ног. Илья Ильич снова слышал. Двигал ушами, как волк, под каской. Он слышал приказы, это были просто надсадные крики. Слова сливались то в серую, то в кровавую кашу. Ее отрядный повар зачерпывал голой рукой, как поварешкой, и вытаскивал из котла обваренную красную руку.

«В атаку! Вперед!» – ввинчивался визг в холодные дыры ушей, и он опять глох. Надо было бежать вперед, а он не бежал. Ему давали пинка под зад. Тогда он не бежал – падал вперед лбом, вытянув руки, падал бесконечно и позорно и все никак не мог упасть; и, чтобы не упасть, надо было быстро перебирать ногами.

Сжать зубы сильнее. А разве у тебя есть зубы?

Есть, там, давно.

Уши слышат, как немцы кричат: «Швайне! Швайне!» Рот хочет пить. Воды нет. Воды никто не даст. Все бегут в атаку, какая тут вода? После смерти тебе уже не нужно будет никакой воды. Будешь лежать, руки раскинуты. Лицом в грязь. А может, лицом в небо.

И по тебе, по твоему телу будут бежать чужие сапоги. И вдавливать его в грязь и снег.

Война – грязь. Он это понял только на войне.

Но она, грязь, родная. Это твоя земля.

И, если тебя убьют, ты в нее ляжешь. Это он крепко усвоил. Им все говорили: враг будет разбит, победа будет за нами. Ты умрешь, и тысячи умрут, и миллионы. Но победа все равно будет за нами. Заучи это крепко-накрепко.

И он заучил. Даже не заучил, а в сердце впечатал.

И сердце у него под ребрами стало в форме серпа и молота: молот крепко и зло бил по серпу, а серп звенел жалобно и тонко.

Родина. Родная земля. Родная грязь. И умереть не страшно.

Раскисшие дороги. Черноземные поля. Снега и мерзлые комья обожженной земли. Хворост и обгорелые доски. Обломки кирпичей, гильзы, снаряды. Илья Ильич бежал, не понимая, куда бежит. Грохотало сверху и снизу. В груди молот бил о кривой серп. Рядом с ним падали его друзья. Лицом вперед. А он все бежал и бежал, как заговоренный.

Бежал и бежал. Бежал и бежал.

А потом тоже упал.

Боль резанула по потрохам, желудок опять сделал опасное сальто под ребрами. Боль пошла косяком, он растерялся – так много было боли, вот одна боль плывет, и другая, и третья. Заполонила все. Всю толщу последней воды. Они, все эти боли, толкали его носами, кололи плавниками, раздували жабры, облепляли, погребали под собой. Чешуя на боках сверкала, вся стая боли вплывала в его разверзшийся, как яма в земле, живот, заполняя его, полого, и разрывая изнутри.

И сам он превращался в куски боли, разламывался на бесчисленную боль, разлетался и уже не мог себя собрать воедино. Надо было кричать, а крика не было – стая хищных рыб мгновенно проглотила крик, будто приманку. «Боль питается нашим страхом и криком. Она ждет его. Это для нее хлеб».

Он подумал о хлебе, и взорвался желудок. Он видел, как желудок стекает на простыню багровым воском. Страшным усилием положил ладонь себе на живот, стараясь остановить кровь. Теплое, живое текло между пальцами. Текло и утекало. Навек.

«Навек?! Что такое навек? Не понимаю. И не пойму!»

Голос жены горячо втек в дыры боли, зияющие на месте ушных раковин: «Ты всегда был дурак, Илюшка. Ты никогда ничего не понимал».

Слишком уж близко звучал голос. Он выгнул шею, уперся затылком в жесткую, железную подушку. Они разговаривали мыслями.

«Я – дурак?»

«Ты ничего не понимаешь даже сейчас!»

«А что я должен понять? Что?»

«То, что это же я. Я говорю с тобой!»

Он не успел обрадоваться. Вместо радости в груди плавали черные мальки дикой боли. Он сдерживался, чтобы не кричать. Он не хотел кормить боль хлебом.

«Так, значит...»

«Ничего не значит! Не значит! Не значит!»

«Зачем же тогда... за что...»

«Низачем! Ни за что! А просто так!»

Голос обратился в щеки, волосы и глаза. Перед ним, слишком близко, седым зимним листом на сохлом черенке, моталось лицо мертвой жены. Лицо мертвое, а голос свежий, хриплый, живой.

«Зачем ты тут!»

«Ты...»

Он протянул к ней мысли, как руки, и крикнул изо всех сил: «Варя!» –   
и она крикнула в ответ: «Илюшка!» Изгибая каменное тело, вздергивая деревянные руки, он, взорванный, рушился, падал с большой высоты, но падал почему-то не вниз, а вверх. От падения ввысь мутило, тянуло рвать. Тело Ильи Ильича с трудом, с ужасом обращалось в воздух и душу и все никак не могло превратиться.

«Я не превращусь. Я не умру никогда. Я не уйду! Не хочу! Пусть мучиться, пусть боль, все что угодно! Я все вытерплю! Все! До капли! До визга! Но я не хочу! Слышишь! Не хочу! Не хочу!»

Кому он беззвучно, жалко кричал? Разве он мог сказать? Разве знал?

Разве он мог что-то изменить?

И вдруг крик прекратился. Ушел далеко, глубоко внутрь него. Он слышал его, свой крик, отдельно от себя: за далью, во тьме пространства. Крик таял и улетал. А он, Илья Ильич, оставался здесь. Это было так странно: он остался, а крик умер. Значит, умер крик? А он жив?

«Я жив! Жив!»

Счастье проткнуло его тысячью длинных игл и вышло наружу. Прошило его насквозь.

«Это чудесно! Это же чудо!»

А голос жены возник в ногах, поднялся по кровотоку, достиг груди; обнаружил на месте сердца круглую пустоту, побежал дальше, обласкал подбородок, сжал ему щеки, погладил брови. Пальцы голоса легли на веки. «Она хочет закрыть мне глаза». Тело залил кипяток еще неиспытанного ужаса.

«Нет! Пожалуйста, нет! Варька! Нет!»

Он думал: она сейчас, как всегда это было, опять обзовет его дураком, прикрикнет на него, – а вместо этого нежный смиренный шепот крепко, любовно обнял его всего: от маковки до пяток.

«Ильич... Господи, Ильич, успокойся, успокойся...»

И тогда он раздул ноздри. Он делал огромный, нескончаемый вдох, глубокий как колодец, необъятный, как небо в ясный день. Вдох не кончался, а он – он чувствовал, что кончается. Слишком мало его оставалось. Вместо него был только воздух и вдох. Вдох был залогом жизни, но жизнь перед величиной такого вдоха оказывалась совсем маленькой – мышкой, мошкой. Пылинкой в луче.

Легкие раздулись как воздушный шар. Илья Ильич увеличился в размерах. Оторвался от кровати. Висел над ней. Слепая перекрученная пуповина простыни еще удерживала его, но все слабее и слабее. Слепые его, катарактные глаза закатились, из-под век глядели сине-желтые, в прожилках, белки. Он увидел себя ребенком: он глядел на свои детские, в цыпках и кошачьих царапинах, неловкие маленькие руки. На детских руках росли седые старческие волосы. Он хотел удивиться сам себе: как это я так смог, я и ребенок, и старик? – и удивление умерло, не родившись.

Он увидел свою кастрюльку, в которой всегда кипятил воду. Руки слепо чиркали спичками. Одна вспыхнула и погасла. Другая погасла. Третья погасла. Руки все чиркали, а спички вспыхивали и гасли. Он захотел засмеяться, и вдруг последняя спичка загорелась ярко, жарко.

Он не мог вдохнуть глубже. Надо было выдохнуть.

Он боялся выдоха.

Потому что за выдохом надо будет снова сделать вдох, а в легкие вместо воздуха польется что-то другое. Что? Вода? Молоко? Водка? Облако? Метель?

«Варя, где Варя? Где она?»

Жены не было. Не было и страха. Он выдохнул с радостью, с гордостью: вот вам! Я не боюсь!

Но, как только он выдохнул, шумно и хрипло, страх явился опять. Страх стал им самим. Рук и ног не было: был голый страх. «И никакого тебе света. Никакого счастья. Так все просто».

Он успел подумать краем молитвы: «Господи, как же все просто», – как его, будто простыню, схватили огромные, чужие и властные руки, скрутили в жгут, выкрутили, выжали, на койку и на пол закапала бедная грязная жизнь, растеклась пятнами по подушке и одеялу. Руки тянули одеяло на себя. Тянули. Щипали. Собирали с одеяла жуков и бабочек, червей для рыбалки и цветные стекла. Тащили ближе к груди, ко рту самое милое, самое дорогое. Ткань. Паутину. Кружево. Песок. Рыбий скелет. Пустую бутылку. Рюмку. Кастрюльку.

Он схватился рукой, обращенной в страх, за ручку родной кастрюли, и кипящая, булькающая вода выплеснулась ему на живот, на ноги. Он обварился. А боли не было. Он еще видел, как вздувается на голых бедрах и лодыжках кожа, идет пузырями, как валится на пол кастрюля с кипятком. Потом кипяток плеснул в глаза, и слепые глаза лопнули и вытекли. Он еще успел ощутить это.

Илья Ильич сделал вдох, и вместо воздуха ему в легкие влился кипяток.

А потом откуда-то сбоку, а может, со спины навалилась тьма.

Перед тем, как тьма накрыла его, он все-таки успел увидеть свет.

Совсем маленький. Нищий. Ничтожный. На светлячка под гнилым пнем похожий.

И, как только он увидел этот свет, ему стало так его жалко, и он захотел его взять, прижать к сердцу. Защитить. Укрыть. Спасти.

Не успел.

Круглый мужик в полосатой пижаме бежал по коридору, махал, как пингвин крыльями, короткими ручками и кричал: «Доктора! Доктора! У нас в палате больной умер!» Фикусы качали громадными лаковыми листьями. В бочках, где они росли, валялись вата и окурки. Врач спешил, шагал мимо фикусов и палат, глядел на часы на запястье, зевал –   
только что съел марципан и выпил горячего чаю, хотел мирно устроиться спать в ординаторской на раскладушке. А тут на тебе, смерть, ну он же так и знал, что сегодня. Вошел в палату. Больные стояли вокруг койки Ильи Ильича. Смотрели на него, кто как: кто холодно, кто с любопытством, кто сокрушенно, кто слезно. Врач наклонился, пощупал Илье Ильичу пульс, потом приложил пальцы к шее.

– Уже холодеет.

– А вы трогали?

– Трогали.

– У него родня есть?

– Мы-то откуда знаем.

Врач ладонью закрыл Илье Ильичу глаза, а потом украдкой вытер ладонь о полу халата.

Людочка приехала вскоре. Разыскали ее телефон. Людочка стояла у койки и тихо смотрела на смерть. Она уже видела смерть в жизни, но смерть была каждый раз новая. Не похожая на себя прежнюю.

– Вы сможете забрать тело?

Людочка шмыгнула носом. Сквозь модные дырявые джинсы просвечивали голые колени. Старый свитер обтягивал полную грудь. Людочка чувствовала жадные взгляды мужиков и думала: «Значит, не очень-то и больные». А потом еще думала так: «Это жизнь, это все жизнь». Врач стоял рядом. Он взял ее руку и пожал, и она не удивилась. «То ли сочувствует, а то ли я ему понравилась». Она подняла руку и перекрестилась, и громко прочитала заупокойную молитву, которую знала. Никто не повторял за ней. Одинокий голос истаял в душной палате.

– Форточку откройте, – сказала Людочка сердито, – у вас тут как в нужнике.

– У нас тут покойник.

– Тем более.

– А кто он вам? Муж?

Людочка молчала.

– Как же муж, такой-то старик. Она, видишь, молоденькая.

– Какая там молоденькая? Бэ-у, разуй глаза.

– Нет, не бэ-у. Ротик свежий, как помидорчик.

Мужики обсуждали ее при ней, будто она была манекен или мертвец.

– Папаша, значит!

– Или, может, друг-приятель? А?

Илья Ильич лежал спокойно и чинно. Его ступни странно вывернулись. Подбородок утонул в яремной ямке. Седые пряди прилипли к холодному лбу.

Он лежал так, будто собрался лежать здесь, на этой койке, всю жизнь.

Всю смерть.

Людочка молчала.